

## **Ольга Харитонова, Омск**

1988 г.р., член Союза литераторов России с 2020 года, эссеист, сценарист анимации.

СенЮич

Побывать в Тарусской даче Паустовского для меня — почти как увидеть Париж и умереть. (По Эренбургу, от счастья.)

Я подлетела к калитке цвета прошлогодней листвы быстрее всех, прочитала вывеску. Тырк — закрыто. У дома — оранжевый лилейник и черёмуха, за ними, в белой оконной раме, — красная и розовая герань, а дальше — молчаливая пелена тюля.

На стук никто не откликнулся, и мы, так долго стремящиеся сюда, постарались насытиться меньшим: подпрыгивали, фотографировали, глазели в щели.

Увидев тропинку, уходящую за дом, обошли по ней сад вдоль забора. В низине текла Таруса, совсем мелкая, каменистая, а над ней, как было обещано в сказке, виднелась зелёная беседка — тот самый скворечник, в котором работал Паустовский.

Вдруг: между сетчатым забором и землёй — щель. Я поднялась по склону и пролезла в сад. Ребята последовали за мной.

Заглянула в беседку-скворечник: плетёные диванчики, окно смотрит в сторону реки, рядом стол. На столе лежит стопка книг (какие — не разглядела), стоит кувшинчик с полевыми цветами.

За беседкой цветочным калейдоскопом крутится сад.

*«Все ушли далеко. Только лёгкой пугающей тенью  
Бродит кошка в саду»,*

— написал Паустовский в стихотворении 1915 года, за сорок лет до покупки крошечного тарусского дома. (Вы знали, что он писал и стихи?) Теперь этот дом растёт синей незабудкой посреди сада, его сразу и не заметить.

Но я заметила: я знала, где искать. Подбежала, прижалась лбом к центральной стеклянной двери и увидела две фигуры, они сидели в дальней комнате за столом.

Эмоции были невероятные: и холодящее ощущение опасности, всё-таки мы пробрались на частную территорию музейного центра и чужого жилья, и обжигающая радость, ведь теперь было кому запустить нас внутрь.

Сегодня! Сейчас! Никогда прежде! Никогда больше!

Мы решили попасть в этот дом, чего бы нам это ни стоило. Постучали. Ещё и ещё.

К нам вышла худая женщина примерно за тридцать семь, спросила, чего хотим (ни как мы попали в сад, ни кто мы, нет). Пускать нас она отказалась, но отказала мягко, шепнула, что хозяйка (падчерица Паустовского, Галина Алексеевна Арбузова) приболела, предложила нам осмотреть сад.

*«И гаснут восторги, и в сердце таится печаль,  
Как зимняя тяжесть, как слёз затаённое время»,*

да, Константин Георгиевич, всё так и было.

Мы разошлись по саду. На считанные минуты смирились: ну, болеет, закрыто, на свете бывает всё... А потом волна нетерпения снова подкатила к нашему берегу.

Постучим? Постучим!

— Что самое страшное может произойти? Нам всего лишь ещё раз откажут.

— Или мы в полицейском тарусском участке будем рассуждать о тяге к литературе.

*«Я — юный внук, овеянный печалью  
моей мечты. В огнистых городах  
сжигаю дни усталые над далью,  
хочу забыть мой тихий вечный страх»,*

— и это Паустовский словно бы про нас. Вернувшись в наши огнистые города, мы не простили бы себе трусости. Обошли дом-музей Паустовских и постучали во входную дверь у ворот.

Вышедшая вновь женщина была удивлена, она повторила нам причину отказа, но мы были безжалостны.

Не умирать же нам, не увидев Париж? Не умирать же вам, не впустив нас?

И нас впустили «на две минуточки», «одним глазком».

Когда мы вошли, Галина Алексеевна сидела за кухонным столом и ела черешню. Увидев, что нас всего четверо, и то, как у нас горят глаза, она сменила гнев на милость, тяжело поднялась и сама провела нас по комнатам.

Никогда и нигде прежде я не была так восторженно внимательна и сосредоточена, как в стенах этого дома. Это не просто советская дача — это удивительный, гармонично устроенный мир, в котором стены ярких цветов (в комнате Паустовского — жёлтые, в детской — голубые...), а ламповые абажуры сделаны самой Татьяной Паустовской.

Мне хотелось касаться всего, запомнить всё — расположение вещей, запахи. Уловила, что на веранде пахнет свечным воском, а в кабинете Константина Георгиевича — словно пирогом с капустой.

Пока никто не видел, я дотрагивалась до ручек шкафов, поручней кроватей, корешков книг.

На стенах дома — много не засвеченных в интернете фотографий, какие-то старые смешные стенгазеты «от друзей», с вырезанными из фото лицами Паустовского.

А ещё — Чехов.

«В каждой комнате этого дома свой», — сказала Галина Алексеевна, и всюду, правда, нашлось какое-то изображение Антона Павловича, фотографическое ли, нарисованное.

В рабочем писательском кабинете на стене висело большое графическое изображение Чехова. А кабинет был в контраст — разноцветный, дачный, радующий. Мы задержались в нём особенно долго.

Смотрели фото Константина Георгиевича (узнали, что на известном снимке, где Паустовский подпирает голову рукой, два светлых тома за его спиной — это тома Пришвина).

На полках — издания хозяина дома в разном количестве томов и разных обложках. Рядом с полками — кресло, вельветовое, цвета выцветшей умбры. Стол деревянный, простенький, столешница накрыта листами голубой бумаги, закреплёнными кнопками (признаюсь, оторвала от бумаги крошку-кусочек, запрятала в карман джинсов, потом, правда, не смогла найти).

На столе кувшинчик, но не с цветами, а с шариковыми ручками, простыми, советскими.

Маленькая настольная лампа (я успела пару раз нажать кнопку на ней). Рядом в чемоданчике печатная машинка «Гермес бэби».

Тут же рукопись. Почерк очень непонятный. Константин Георгиевич сам его не разбирал: если не успевал перепечатать написанное, позже не мог вспомнить, что написал.

У стола два плетёных стула, с одной и другой стороны, большое окно, выходящее в сад. На подоконнике горшки с цветами. На дальней стене, за столом, висят фото «любимых и уважаемых людей», среди них Бунин, Пастернак, Марлен Дитрих, другие.

Мы сидели на полу и слушали рассказ.

*Я полюбил наркозы стран далёких,  
глаза людей, познавших вечный рай...*

Вот эти Паустовские наркозы — вот что случилось с нами там.

Галина Алексеевна как-то смешно и неясно называла в рассказе Константина Георгиевича — «СенЮич». Я переспросила её, надеясь, что она произнесёт имя понятнее, но она лишь ответила:

— Он близкий мой человек и мне можно так его называть.

Вот и мне показалось, что я побывала в доме близкого человека. Умирать нам ещё пока рано, но, в целом, Таруса-Париж теперь отмечена отпечатками наших ног, умирать будет не так обидно.

После экскурсии попросились выйти через калитку, и вот тут-то возник вопрос, как же мы вошли. Я пошутила, что прилетели.

Когда вышли — обнимались. Шли в нирване, общались запойно.

А мы ведь, действительно, туда прилетели. Как ветер с реки, словно пчёлы в сад.

### Блоха. Дыханье. Самовар

Идёшь по блошиному рынку, рассматриваешь вещи, вдруг понимаешь, «блоха» - это Фет. Рынок подержанных вещей устроен и живёт так, что его можно срифмовать с жизнью известного поэта. Во всём своём многообразии и частностях блошиный рынок созвучен Фету больше, чем можно себе представить. И понять, и запомнить Фета можно, осознав его через «малеванный хлам, на затхлои площади».

Рынок, словно двойственная фетовская личность, распадается надвое. Практичный, хозяйственный Шеншин — это инструменты, детали, приборы, а безрассудный, поэтический Фет — это фарфоровые балерины, люстры с подвесками и рюмочки-сапожки. Как всё сочетается в единое — уму непостижимо. (Как беден наш язык! Не передать того ни другу, ни врагу!)

Фета называют поэтом без явного развития: он ставил в сборники стихи значительного временного разрыва (сороковых годов рядом со стихами восьмидесятых), не датировал их, как правило, а циклы сборников озаглавливал общими словами тем, вроде «Снег», «Мелодии», «Гадания», «Весна», «Море».

Барахолка также смешивает времена и стили, и здесь одеяло прилавка сшито из широких лоскутов «Посуда», «Часы», «Игрушки», где каждая нитка лоскута своего роду и племени не знает.

Где что ещё живое, блестит, ходит, вроде «Востока» с календарём 1969 года, а где не предмет — пародия (вроде пупса Куклачёва с выпученными глазами), или вовсе — подделка.

Фета тоже много пародировали, как пародируют всё вызывающе новое, то, что дразнит и эпатирует. Вот пародия Д. Д. Минаева (1863) на стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье...»:

*Холод, грязные селенья,  
Лужи и туман,  
Крепостное разрушенье,  
Говор поселян.  
От дворовых нет поклона,  
Шапки набекрень,  
И работника Семена  
Плутовство и лень.  
На полях чужие гуси,  
Дерзость гусенят, -*

*Посрамленье, гибель Руси.*

*И разврат, разврат!..*

Пойман, разве что, основной момент – безглагольность, ритмическое перечисление образов. Вот еще некоторые безглагольные тексты Фета:

*Чудная картина,  
Как ты мне родна:  
Белая равнина,  
Полная луна  
Свет небес высоких  
И блестящий снег  
И саней далеких  
Одинокий бег.*

\*\*\*

*Только в мире и есть, что тенистый  
Дремлющих кленов шатер.  
Только в мире и есть, что лучистый  
Детски задумчивый взор.  
Только в мире и есть, что душистый  
Милой головки убор.  
Только в мире и есть этот чистый  
Влево бегущий пробор.*

И мне снова видится здесь суть блошиного рынка – всё бессвязно, отдельно, а в целом – общее. Вот бобина «Б8-120» с надписью на коробке «Ялта 1980», вот рефлектор Минина, вот фотоувеличитель «Юность» - всё уникальное, разное, но объединено одним подносом-покрывалом и одним хозяином.

Иногда хозяева объединяют своё богатство в малые циклы «Всё по 20 р.», «Всё по 50 р.», но для этих коробок только два глагола – обнять и плакать.

Ходишь между рядами и отмечаешь звукопись товаров: синие керосинки, чёрные чемоданы, кудрявые куклы... Звуковые повторы в текстах Фета встречаются часто, они – основа медитативности его лирики:

*Зреет рожь над жаркой нивой,  
И от нивы и до нивы  
Гонит ветер прихотливый  
Золотые переливы.*

\*\*\*

*И меняется звуков отдельный удар;  
Так ласкательно шепчут струи,  
Словно робкие струны воркуют гитар,  
Напевая призывы любви.*

Следующая ниточка ассоциаций - лексические повторы, которые привлекают внимание к слову, усиливают, «освещают» его:

*Звонким роем налетели,  
Налетели и запели  
В светлой вышине.  
Как ребенок им внимаю,*

*Что? сказалось в них — не знаю,  
И не нужно мне.  
Поздним летом в окна спальни  
Тихо шепчет лист печальный,  
Шепчет не слова;  
Но под легкий шум березы  
К изголовью, в царство грезы  
Никнет голова.*

«Блоха» на лексические повторы богата. Слово одно, а предметов тьма – ложка, ложка, ложка, ложка, вилка, вилка, вилка, вилка... Чайная, кофейная, серебряная, сервировочная, для рыбы...

Вот стоит три самовара, слева и справа - красавцы, а серединный – гадкий утёнок, то ли хранился под открытым небом, то ли активно эксплуатировался. А сбоку от троицы – керамический чайник «под самовар», гжелевская роспись. Четырежды у прилавка повторишь слово «самовар», с ним и пойдёшь дальше.

Блошиный рынок – чистый импрессионизм. Современники часто говорили об импрессионизме Фета, о том, что он не изображает, не рассказывает прямо, но передает впечатление, старается его навеять. Впечатление в его тексте было важнее описываемого предмета.

Всё названное в стихе было окрашено чувствами героя, визуальная картинка не складывалась – всё было отрывочно и фрагментарно, так человек переполненный эмоциями не может воспринять и запомнить всё последовательно, его мысль скачет:

*А там, вдали, сверкает воздух жгучий,  
Колебяся, как будто дремлет он.  
Так резко-сух снотворный и трескучий  
Кузнечиков неугомонный звон.*

Поэзия и ясность для Фета были несовместимы. Облако вокруг стиха – вот что было важнее самого текста.

Так на блошином рынке важнее самого предмета история, спрятанная за ним, – год, семья, завод и страна. Все предметы «блохи» имеют это таинственное облако, именно благодаря ему ступаешь на тропинку между рядами с прилавками.

Ступаешь и теряешься в разветвлениях. Сложность рынка подержанных вещей – и есть большое искусство.

Фет был большим поэтом. Но эпоха требовала от него ясности, определенности и, главное, актуальной пользы. Фет был не ясен, не определен и бесполезен, принципиально бесполезен.

Разве легко найти на барахолке действительно полезную вещь? Многое интересно, что-то изящно и красиво, но домой почти ничего не понесешь – ничего неприменимо к современной реальности.

«В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда» - сказал однажды Фет и был прав, раз уж в любом городе, в любом месте можно найти отголоски поэзии.

Шепот, робкое дыханье и часы «Янтарь»...